

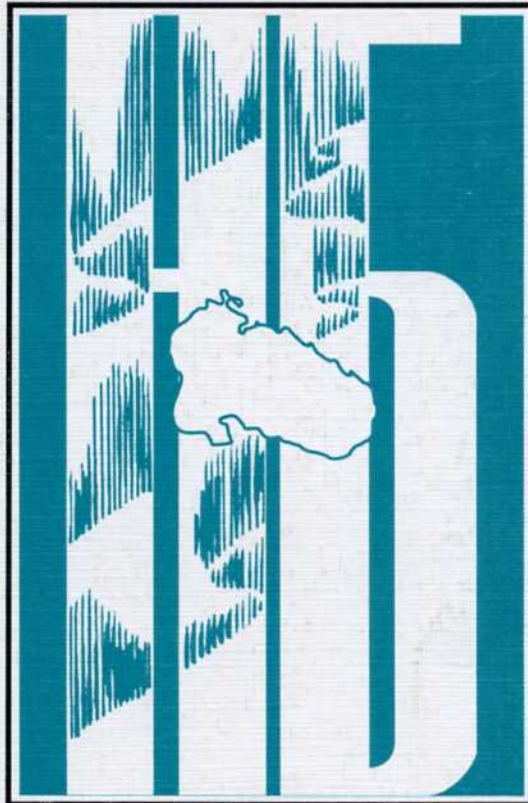
2 2006
АПРЕЛЬ

ISSN 1684-7466

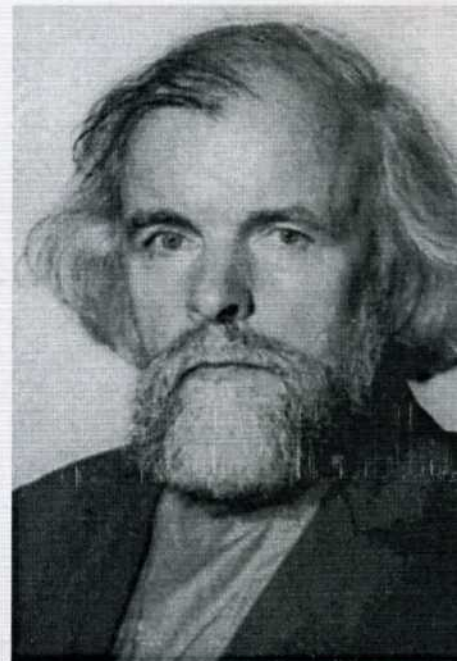
НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

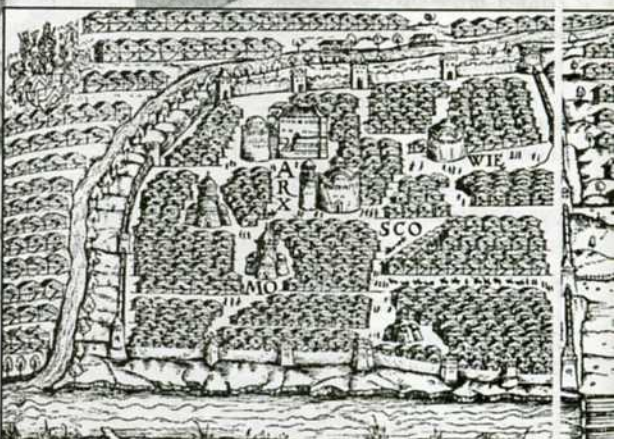
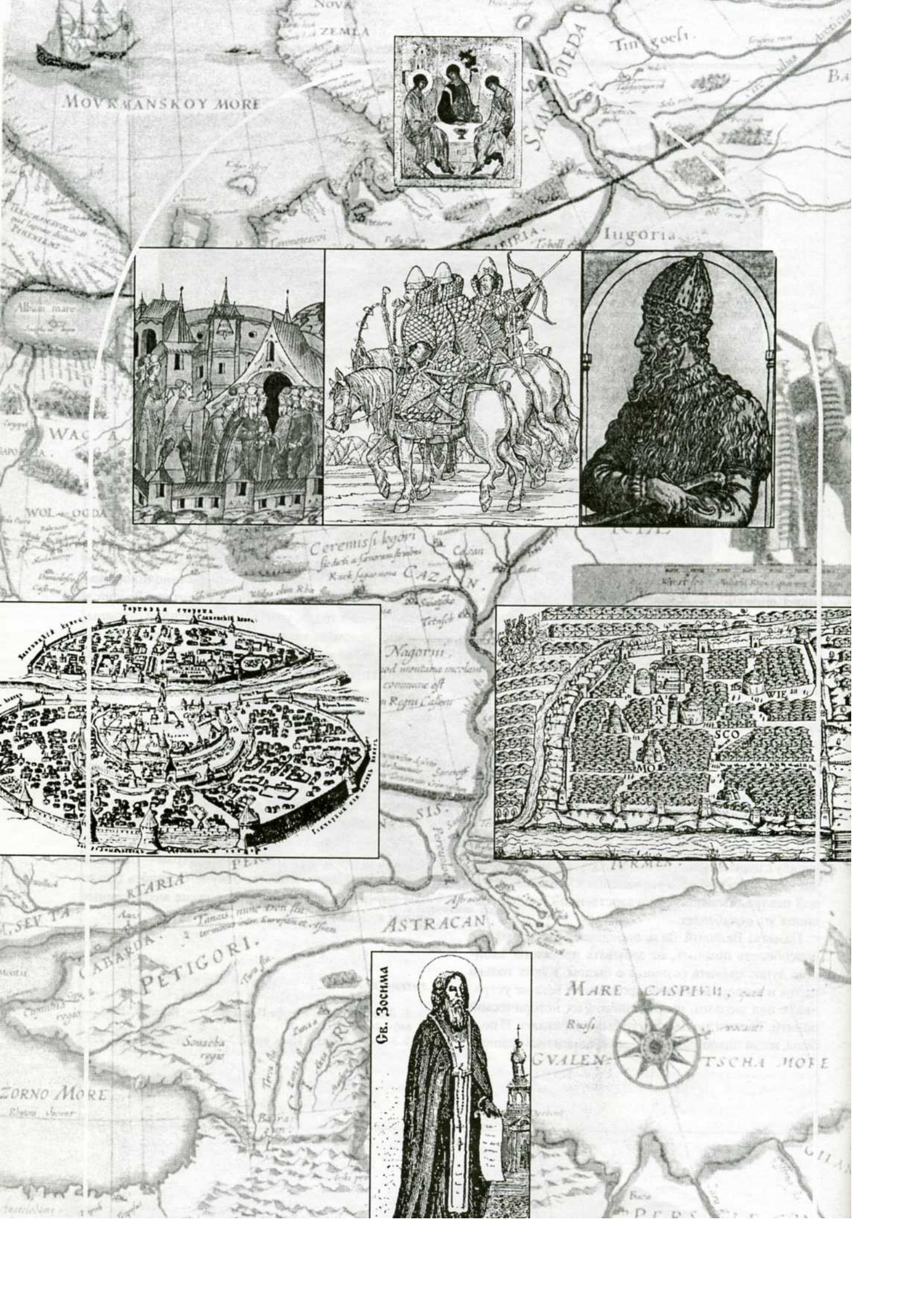
СЕРИЯ
ДУХОВНАЯ
ПРАКТИКА

Д. М. Балашов:
историческая
память

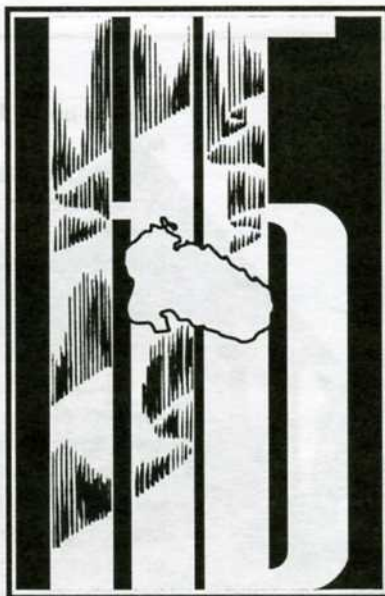


НАУКА
И
БИЗНЕС
НА МУРМАНЕ





- ◁ Верхние ил. на стр. 24:
«Новгородцы звонят в вечевой колокол»,
«Русская дворянская конница XVI века»,
«Иван III»
- ◁ Средний ряд ил.:
«План Новгорода. Старинный рисунок», «Московский Кремль. XVI век»
- ◁ Нижняя ил. на стр. 24
«Святой Зосима»



Дмитрий Балашов и Марфа Борецкая

В. А. Кошелев

1

Роман «Марфа Посадница» писался в трудные для Д. М. Балашова времена, когда писателя «тихо выгнали» из академического института в Петрозаводске, где он работал. В последней автобиографии он кратко замечал о конце 1960-х годов: «Изгнанный из института, я поселился в полупустой деревне Чеболакше на Онежском озере, где завел хозяйство и начал писать свои исторические романы, и где трижды едва не погиб. Мама успела прочесть еще в рукописи «Марфу Посадницу» [4, с. 5]. Прежде «Марфы Посадницы» была написана первая историческая повесть Балашова «Господин Великий Новгород» — она принесла ему известность. «Марфа Посадница» уже дала писателю имя и славу исторического романиста.

Этот роман был особенно дорог Балашову по личным причинам. Его первое «книжное» издание, вышедшее в издательстве «Карелия» в 1976 году, открывалось посвящением: «Посвящаю светлой памяти моей матери Анны Николаевны, другу и соавтору, с которой вместе сидели мы над рукописью этой книги в деревне Чеболакше осенью 1969 года». Кажется, в сознании

писателя каким-то образом совмещались эти два облика: выдуманный образ исторической Марфы Борецкой и облик матери, умершей в то время, когда автор заканчивал этот роман.

Историк литературы, исследующий «Марфу Посадницу», неизбежно сталкивается с необходимостью объяснить, почему исторический романист, успешно начавший творческий путь с разработки собственно «новгородской» тематики, ограничился двумя первыми произведениями? Почему он позднее, даже избрав Новгород основным местом жизни, не «вернулся» к «новгородской» теме? Как-то в разговоре Дмитрий Михайлович завел речь о том, что «не до конца» исчерпал даже тему новгородской «вечевой республики»: в «Господине Великом Новгороде» представлены страницы из ее «начальной» жизни XIII века, а «Марфа Посадница» — это уже конец XV века: «оскудение» и гибель, драматический период ее истории. А «середина» — расцвет Новгорода — как-то осталась «непрописанной»...

В своем последнем очерке «Новгород Великий» (2000) Балашов дал яркую поэтическую картинку дра-



Анна Николаевна — мать Д. М. Балашова

магического этапа новгородской культуры: «Гаснущая культура подобна золотой осени. Разноцветье багреца и черлени, светлого и темного золота, чистая голубизна небес над бронзовой гривой дубрав и солнечными всплесками осенних березок. На пороге предзимнего умирания дивно прекрасен осенний лес! Так и гаснущая культура: уже потеряны сила и мужество воевод, угасла мудрость политиков и дерзновение купцов, но высятся, в полном цвету, величавые памятники веков, еще не порушены варварами храмы, не расхищено многоценное узорочье. Уже созданная, уже выразившая себя культура еще в полном цвету, и не чувствуется, что это цвет предсмертия, цвет осени, и первый сильный ветер оборвет, изомнет и уничтожит драгоценное многоцветье дерев, гаснущее очарование культуры! Как знать, в отчаянной борьбе Марфы Борецкой с московским великим князем, не было ли и того, трудно определимого призыва этого очарования, когда иконы и храмы, живопись фресок и узорочье, летописная память величия и гаснущая красота застили для нее картину упадка и увядания, заставляя надеяться на чудо возрождения древней славы, возрождения сил, того, что уже не в подъем измельчавшим современникам. <...> Молюсь, чтобы наше нынешнее затмение не оказалось концом, исходом великой русской цивилизации. Это было бы очень страшно! Слишком страшно даже поверить в такое!» [4, с. 18—19].

Последняя параллель, между прочим, объясняет, почему «Марфа Посадница» далеко не сразу была выпущена к печати и автору пришлось много за нее побороться.

«Действие романа, — указывает Балашов в послесловии, — охватывает 1470—1478 годы. Все события, вплоть до мельчайших, выверялись, помимо специальных исторических исследований, по первоисточникам: летописям, грамотам, писцовым книгам, жи-

тиям и проч. К сожалению, науке многое неизвестно...»¹

Дело даже не в том, что «неизвестно» — хуже, что исторические источники в данном случае «многовариантны». После падения Новгорода архивы многих новгородских бояр были конфискованы и уничтожены, — известия о тех же Борецких нужно получать из косвенных источников. И тут оказывается, что ничего нельзя сказать с определенностью.

Сведения о Марфе, честолюбивой вдове бывшего новгородского посадника Исака Андреевича Борецкого, альтернативны буквально во всем — начиная от рождения до смерти. Неизвестно, когда она родилась и из какого рода происходила: есть версия, что она происходила из рода новгородских бояр Лошинских, но не исключено — что из рода бояр Виремских, владевших вотчинами в Кемской земле [6]. В Новгороде XV столетия политическое влияние Борецких основывалось на их экономическом могуществе: по величине собственности Марфа была третьей после новгородского владыки и монастырей. По подсчетам Ю. Г. Алексея, ей принадлежало около 1200 крестьянских хозяйств; она владела обширными волостями в Двинской земле — и контролировала практически весь нынешний Русский Север [1]. Но на чем именно выросла «империя Борецких» — так и неясно.

Усадьба Борецких в Новгороде — большой двор с «чудным домом» (который сгорел еще весной 1477 года) была в Неревском конце на Волховском берегу. Академик В. Л. Янин полагает, что она, вероятно, находилась на Борковой улице, наименование которой созвучно с боярской фамилией [16]. Сам Балашов в упоминавшемся выше последнем очерке о Новгороде заметил: «Италия может показывать в натуре дом, где жила семья Данте, мы же — лишь место, где стоял “Марфы Посадницы чудный двор” (на месте том сейчас высится кирпичная баня, препятствуя даже и проведению раскопок)» [4, с. 7].

Между тем совершенно неясен общественный «статус» Марфы Борецкой. В дарственной грамоте 1469—1470 годов Соловецкому монастырю дарительница названа «Марфа Исаковская Великого Новгорода посадница» [3]. Значит ли это, что она, наперекор вечевой организации Новгорода (которая не допускала женщин ни к каким официальным должностям), была избрана на вече в должности посадницы? Некоторые видные историки именно так и полагали. Вот — Д. И. Иловайский: «Ничто так не свидетельствует о внутреннем упадке Великого Новгорода, как полный недостаток мужей, которые бы выдвинулись в эту эпоху своими талантами и гражданскими доблестями. <...> В самое критическое время его истории на переднем плане является женщина, которая своей энергией и усердием к делу новгородской самобытности затмевает всех современных ей новгородцев» [7].

¹ Здесь и ниже роман «Марфа Посадница» цитируется по последнему авторизованному изданию: Балашов Д. Господин Великий Новгород. Марфа Посадница. — Петрозаводск, 1993.



Дмитрий Балашов в Чеболакше

Между тем тот же В. Л. Янин находит в грамоте Марфы Соловецкому монастырю «ряд элементов, указывающих на ее подложность» [17]. В летописях же Марфа фигурирует, в лучшем случае, как вдова посадника Исака Борецкого и мать своих сыновей, старший из которых был степенным новгородским посадником. Исаак Андреевич Борецкий умер лет за десять до интересующих нас событий (точный год смерти его опять же неизвестен), а сколь велико было влияние Марфы на сыновей, остается только догадываться. В «увещательной» грамоте к новгородцам митрополита Филиппа от марта 1471 года Марфа вообще не упоминается. Единственное произведение, уделившее ей важное место, — это «Словеса избранныя». Именно из этих «Словес...» образ Марфы как виднейшей политической фигуры Новгорода накануне его падения перешел в позднейшую историографическую традицию. И, скорее всего, «посадничество» Марфы — вообще поздняя легенда [15].

В 1471 году, после проигранной новгородцами битвы на Шелони, расправа Ивана III была кровавой: «Посадников привелоша к великому князю, он же разъярився за их измену и повеле казнити их: кнутием бити и главы отсеци» [12]. Так погиб старший сын Марфы Дмитрий. Давно сложившаяся историографическая традиция, согласно которой причиной похода Ивана III на Новгород была пролитовская ориентация партии Борецких, основана на интерпретации великокняжеского летописания («Повести о походе Ивана Васильевича на Новгород» в составе Московского летописного свода). Но сохранился и ее «новгородский» вариант [11]. Выдающийся медиевист и знаток летописания Я. С. Лурье, подвергший критическому

анализу летописные источники, пришел к выводу, что никакого сговора между Новгородом и Литвой *не было*, как не было и связей с униатской церковью [9]. Обвинения Новгорода в приверженстве к «латинству» и в сговоре с Литвой должны были оправдать действия великого князя, который выступил против новгородцев «яко на иноязычник и на отступник православия».

В 1475 году Марфа лишилась и своего младшего сына, Федора. Обвиненный в «разбое и грабеже» новгородских пределов, он, по распоряжению Ивана III, был в оковах сослан в Муром, где был пострижен в монахи и через несколько месяцев умер.

В 1478 году Новгород был «навек замирен», и Марфа Борецкая, в числе знатных новгородских семей, была выслана из города вместе с малолетним внуком Василием Федоровичем. Где и когда она умерла — опять-таки неясно. По официальной версии — в Зачатейном монастыре в Нижнем Новгороде (куда были пострижена в монахини под именем Марии). Но в начале XIX столетия в селе Млеве Тверского княжества была как будто найдена ее могила — и, может быть, там, на реке Мете, она умерла или была казнена... [10]

Источники исторических сведений о героине романа Балашова были, как видим, не только скудны, но и противоречивы. Они допускали возможность противоположных толкований одних и тех же событий. Историческому романисту, при декларированном им уважении к историческим фактам, постоянно приходилось *выбирать*: или его Марфа — облеченная властью, всесильная *посадница*, избранная на вече, или она просто сильная женщина, могущая повлиять на политику Новгорода только косвенно? В этом случае



Н. М. Карамзин

она должна была быть личностью, наделенною необычайной духовной мощью...

С другой стороны, существовали «сговор» «партии Борецких» с Литвой? Действительно ли Марфа тяготела к «латинству»? Или сохранение единства православия в русской земле — это только позднейшее «оправдание» новгородского разгрома, учиненного московским князем? Ведь, в принципе, романист обязан занять — и отразить в своем произведении — какую-то вполне определенную точку зрения.

Но эти — собственно «исторические» — трудности еще не всё. Балашов неизбежно сталкивался с так называемой «*исторической мифологизацией*» образа героини, с разветвленной «мифологией» ее облика, имевшей собственно *литературное* происхождение.

В XVI веке московские летописцы писали об «окаянной Марфе», «вековой супротивнице» Ивана III, не жалея бранных эпитетов в ее адрес: это «злая змея», которая была научена дьяволом «на погибель земли своей и себе на погубу». Это «злехитриева жена», которую сравнивали то с «бесноватой Иродиадой», то с «окаянной Далилой», то с «грешницей Иезавелью». В такой ипостаси Марфа выступает во многих древнерусских «словах», «беседах» и «поучениях» [13]. В официальной публицистике ее обвиняли в сговоре с киевским князем Михаилом Олельковичем «отвести» Новгород от великого князя Московского, в желании выйти замуж за польского короля Казимира IV (или его вельможу) и с его помощью «владети всею Новгородскою землею». В популярном «Житии преподобного старца Зосимы» содержится рассказ о гордыне и властолюбии Марфы. Оскорбленный ею игумен Соловецкого монастыря предсказывает гибель и запустение рода Борецких: «Се дни грядут, иже дому сего жители не исследят стопами своими двора сего, и затворяются двери дому сего и к тому не отверзнутся, и будет двор их пуст» [18].

В начале XIX столетия эта литературная мифология совершила крутой «поворот». В 1803 году Н. М. Карамзин опубликовал сразу два произведения на этот

сюжет: историческую повесть «Марфа Посадница, или Покорение Новагорода» и очерк «Известие о Марфе Посаднице, взятое из жития Св. Зосимы». Это были, в сущности, последние художественные произведения Карамзина, уже целиком обратившегося к историческим изысканиям. В них, отдав дань сентиментальной традиции, автор, увлеченный идеями века Просвещения, поставил вопрос о возможности альтернативного развития власти в России. В знаменитой повести он сопоставил две формы русского «правления»: единодержавную монархию и вечевое республиканское правление. Противопоставлены и две личности: Иван III и Марфа Борецкая, которые олицетворяют различные идеологии и политические силы.

Как отмечал В. О. Ключевский, сочувствие Карамзина «к республиканскому правлению в “Марфе Посаднице” — влечение чувства, не внушение ума: политические и патриотические соображения склоняли к монархии, притом к самодержавной. <...> В спорах о лучшем образе правления для России он стоял на одном положении: Россия прежде всего должна быть великою, сильною и грозною в Европе и только самодержавие может сделать ее таковою» [8]. При этом, осознавая историческую неизбежность уничтожения новгородской республики, Карамзин всё же оставался сентиментальным моралистом и приверженцем нравственных путей разрешения политических проблем, — именно поэтому его авторские симпатии оказались на стороне «величавой новгородки».

Если в литературных произведениях по сходной тематике, появившихся раньше повести Карамзина, Марфа Борецкая изображалась в соответствии с прежней традицией «злой жены» (ода В. Петрова «Падение Новгорода», поэма М. М. Хераскова «Царь, или Спасенный Новгород» — обе появились в 1800 году), то повесть «Марфа Посадница, или Покорение Новгорода» породила традицию противоположную. «*Злая жена*» превратилась в «*величавую республиканку*». Восприятие этой героини XIX столетием очень точно отразил, например, Гончаров в романе «Обрыв»: «Пришла в голову Райскому другая царица скорби, великая русская Марфа, скованная, истерзанная московскими орлами, но сохранившая в тюрьме свое величие и могущество скорби по погибшей славе Новгорода, покорная телом, но не духом, и умирающая всё посадницей, всё противницей Москвы, и как будто распорядительницей судеб вольного города» [2].

Страстная, пылкая, мудрая, великодушная, смелая — такими эпитетами «награждена» Марфа в повести Карамзина. Дальнейшая традиция литературного воссоздания этого образа пошла уже по намеченному им пути. Мы зафиксировали не менее 50 произведений XIX столетия, в которых так или иначе нашел отражение сюжет «падения Новгорода», уничтожения вече, — и появился связанный с ним образ Марфы Посадницы.

Это — произведения, что называется, «всех родов литературы». Активно образ «величавой республиканки» разрабатывался в поэзии. Здесь находим и истори-

ческие элегии («Гробница Державина» П. А. Плетнева, «Берега Волхова» В. Н. Григорьева, «Новгородская песнь 1-я» Н. М. Языкова, «Новгород» Н. Арбузова и т. д.). И чаще — исторические баллады: неоконченная дума Рылеева, баллады А. И. Одоевского («Зосима», «Новгородская странница» и др.), стихи Л. А. Мея «Вечевой колокол», Н. В. Берга «Синеусов курган», К. К. Случевского «Новгородское предание», О. Н. Чюминой «Видение святого Зосимы» и т. д. и т. п. В подавляющем большинстве из них выведена — как раз в качестве «великой жены» — Марфа, последняя «справительница» вольного Новгорода...

И драматические произведения о Марфе Посаднице не замедлили явиться. На протяжении всего XIX века одна «историческая трагедия» на эту тему сменяла другую. История падения Великого Новгорода, ставши ареной политических дискуссий, представила и весьма яркий драматический сюжет, который лег в основу не менее шести полновесных трагедий, написанных в разное время и разными драматургами. К 1807 году относится драма в 3-х действиях П. И. Сумарокова (бывшего губернатором Новгорода) «Марфа Посадница, или Покорение Новгорода». В 1898 году знаменитый исторический драматург Д. В. Аверкиев выпустил свою последнюю драму «Вечу не быть!». Между этими фактами русского театра — трагедия Ф. Ф. Иванова (1809), трагедия, написанная профессором истории М. П. Погодиным (1830), между прочим, была сочувственно оценена Пушкиным, драма Е. П. Ковалевского «Марфа Посадница, или Славянские жены» (1832), трагедия В. И. Аскоченского (1848) — то есть целая драматическая (и театральная) традиция!

С 30-х годов XIX века, когда в русской литературе является и расцветает жанр исторической беллетристики, не замедлили явиться и прозаические произведения на эту тематику: «Падение Великого Новгорода» некоего «Сергея ... кого», «Иголкин, купец новгородский» Н. А. Полевого, «Басурман» И. И. Лажечникова. К концу века «мода на Новгород» сделалась едва ли не всеобщей — перечислю в хронологическом порядке только заглавия некоторых романов и повестей: Е. Прибытков. «Марфа Посадница» (1888), И. Привольев. «Халдей. Повесть из новгородского быта XV века» (1888), Д. Мордовцев. «Марфа Посадница» (1891), Д. Карышев. «Драма на Волхове» (1894), Е. Дубровина. «Рухнувший великан. Исторический роман из XV века» (1894), Н. Гейнце. «Новгородская вольница. Исторический роман из времен Иоанна III» (1895), Н. Алексеев. «Воля судьбы» (1897), В. Политковский. «Новгородский погром» (1897), В. Авенариус. «Дочь посадничья» (1901), В. Лунин. «Новгородская вольница, или Башня смерти» (1903)... Эта беллетристическая традиция продолжилась и в XX веке, — хотя здесь мы не проводили сплошной проверки...

Приведенные в этом перечне литературные тексты — весьма разного достоинства (чаще — невысокого!). Но само их обилие показывает, что та тема, за которую

И. А. Гончаров



К. Ф. Рылеев



К. К. Случевский

взялся Балашов, стала излюбленной в русской исторической беллетристике. Писатель был вовсе не обязан знакомиться с этими текстами — хотя мимо некоторых из них, например, знаменитого в свое время романа Мордовцева, просто не должен был пройти. Эти тексты создали у русского человека, интересующегося историей, некий уже устойчивый образ важного для Руси события — крушения «великана»-Новгорода и уже устойчивый образ женщины, ставшей, наперекор исторической необходимости, на дело спасения этого «великана».

Исторический образ в данном случае получал дополнительное *литературное* наполнение и оказывался уже немислим вне заявленной «мифологизации». А всякий «миф» надо либо поддерживать, либо опровергать, — иначе «диалектика мифа» не работает.

Вот два показательных примера. В 1914 году Анна Ахматова посетила Новгород и написала известное стихотворение, которое заканчивалось выразительным двустишием:

А город помнит о судьбе своей:
Здесь Марфа правила и правил Аракчеев.

С исторической точки зрения утверждение Ахматовой не выдерживает критики; ни Марфа, ни Аракчеев формально никогда Новгородом не «правили». В данном случае поэт опирается на литературный «миф», представляющий «правление» последней новгородской «посадницы» и, с другой стороны, — новгородские «военные поселения», заведенные Аракчеевым. И на этой «литературной традиции» Ахматова, в сущности, строит свое поэтическое утверждение о городе с особой «судьбой».

В том же 1914 году Сергей Есенин написал небольшую поэму «Марфа Посадница», навеянную начавшейся войной:

Не сестра месяца из темного болота
В жемчуге кокошник в небо запрокинула —
Ой, как выходила Марфа за ворота,
Письменище черное из дулейки вынула...

В образе непокорной новгородской посадницы Есенин воспеваает не что иное, как бунтарский дух русского народа, присущий ему изначально и обеспечивающий его нравственную силу и мощь. «Царь московский», дабы достичь «с Новгородом сладу», продает Антихристу душу — и готов к «пиру на красной бrage». А смиренная Марфа молит Бога о том, чтобы разбудил дикие удалые силы старого Новгорода:

Ты шуми, певунный Волохов, шуми,
Разбуди Садко с Буслаем на-торгаш!
Выше, выше, вихорь, тучи подыми!
Ой ты, Новгород, родимый наш!..

Опять-таки: с исторической точки зрения — полная ерунда: вряд ли Марфа Посадница могла просить у Бога, чтобы он сохранил для Новгорода «вольницы бражные загулы». Но поэтическое мышление Есенина в данном случае работает в пределах «новгородско-

А. А. Ахматова



С. А. Есенин

го» литературного «мифа», в границах которого Садко, Буслай и Марфа Посадница — фигуры одного ряда.

Таким образом, Дмитрий Балашов, принимаясь за создание «еще одного» романа о Марфе Посаднице и покорении Новгорода, оказался перед сложнейшей задачей. Он не только должен был определиться в противоречивых и «многовариантных» исторических фактах, — но и так или иначе «преодолеть» для себя многосложный литературный «миф», наложивший отпечаток на восприятие разрабатываемого им сюжета и главного образа его «романного» исторического повествования.

2

Чем же отличается создание Дмитрия Балашова от данностей полуторавековой литературной традиции? Какие новые черты и чёрточки он в нее внес? Почему, наконец, общественные данности России конца 1960-х годов потребовали нового обращения к давней теме?

Роман начинается с хотя и неявной — но яркой — отсылки к одному из самых «безусловных» исторических свидетельств о Марфе Посаднице, сохранившемся в составе замечательного памятника русской агиографии «Житие и подвиги Преподобного и Богоносного отца нашего игумена Зосимы, основателя Соловецкого монастыря». В послесловии автор указывает этот эпизод в числе «некоторых отступлений от хронологической и событийной исторической канвы»: Зосима (как указал В. Л. Янин) приезжал в Новгород не в 1470-м году (как в романе), а на год раньше — в 1469-м. Но этот факт, подчеркивает Балашов, принципиально ничего не меняет.

Сцены с Зосимой занимают в романе главы I, II, V и IX. Начальное повествование целиком придерживается хронологии названного «Жития...». Вот как об этих событиях повествуется в источнике (приводим в переводе С. С. Бычкова [5]): «И пришел он к боярыне по имени Марфа просить защиты от ее людей, приходящих на остров и много зла приносящих его монастырю. Хотел рассказать ей Зосима о тех обидах, которые творят ее слуги, но Марфа, узнав, зачем пришел святой, разгневалась и приказала прогнать его из дома и не пожелала принять его благословения. Ушел раб Божий, нимало не смутившись перед лицом неправды, вспоминая сказанное в Евангелии: “Если где войдете в дом, говорите: мир дому сему; и если достоин будет мира, то мир ваш пребудет на нем; если же нет, то снова к вам возвратится, — выходя же оттуда и прах от ваших ног отрясите во свидетельство им”. И, покачав головою, сказал бывшим с ним инокам: “Вот приближаются дни, когда не ступят более жители во двор дома сего, и затворятся двери его и более не отверзутся, — и будет двор их пуст”. Сказав же это, замолчал. И сбылось сказанное угодником Божиим во время свое».

Этот «житийный» эпизод занимает в романе Балашова всю первую главу — и предстает в «переосмысленном» виде. Зосима, от лица которого ведется первоначальное повествование, находится во дворе богатого Марфина дома *один*, — а не в окружении каких-то «иноков». Напротив, когда Марфа приказывает прогнать его со двора, «как пса, как последнего нищего», он оказывается один на один с хохочущей «челядью» и «наглым холуем», готовым вот-вот «опозорить» его монашеское одеяние. Поэтому цитату из Евангелия (Мф., V, 12) он произносит совсем не спокойно и совсем не в «цитатной» форме: «Недостойны вы мира моего! И прах ваш отрясу от ног своих! Истинно глаголю: отраднее будет в день судный Содому и Гоморре, нежели гордому дому сему!».

Свое же «пророчество» относительно дома Марфы он произносит при отроке Даниле и «холопьях», его сопровождающих. Причем, это пророчество святого получает «расширительное» содержание, как будто относится оно не к конкретному «дому», а ко всей «неправде» богатого города. И опять же, в сравнении с источником, Балашов переделывает и «расцветчивает» высказывание: «Как древнии Содом и Гоморра, роскошью и многолюдством, и бесстыдной алчностью, и

завистью переполнено, а паче гордыней! Всё тлен, суета сует! Запомни: дни грядут, и близко уже, когда дома сего жители не исследят стопами двора своего, и житницы их оскудеют, и затворятся двери их, и паки не отверзутся, и прорастет травой двор их, и будет пуст!».

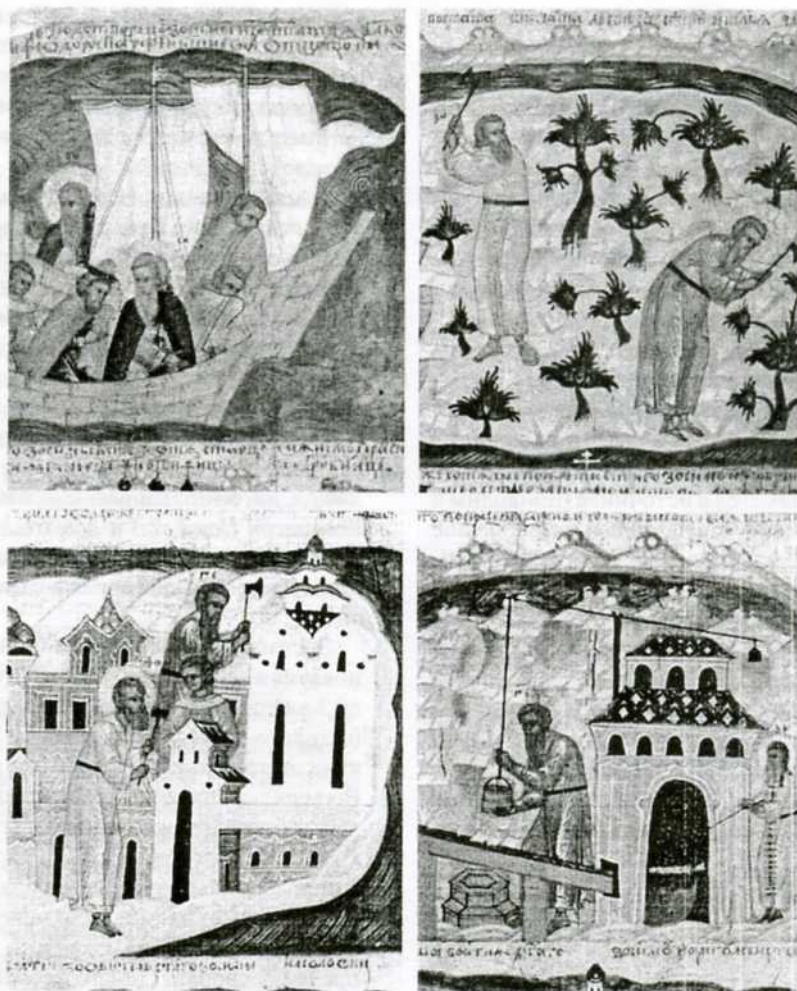
В дальнейшем ходе романа показана сцена пожара 1477 года: горит Новгород; пожар добирается «и до Марфина двора». Марфа смотрит, как рушится ее пристанище — и прямо связывает его разрушение с гибелью Новгорода. «С потрясающим треском и шипом обрушилась главная кровля. Теперь всё. Оба сына допрежь и сейчас — родовой терем. Что ещё оставалось от прошлого у старой женщины, знаменитой, властной и богатой, погребло в пламени. *Теперь у нее остался один только Новгород*, и его нельзя было отдавать ни огню, ни Московскому великому князю». Концепты *Новгород* и *дом* становятся как бы «запараллелены»: оба смыкаются на судьбе Марфы Посадницы, как и почувствовал в самом начале игумен Зосима.

Зосима, герой, переживающий происходящее, становится в первой главе выразителем «заветной» мысли Балашова, которая возникает у героя из простого бытового общения с жителями Великого Новгорода, куда он только-только приехал после дальнего пути. Во всех деталях являющегося перед ним пейзажа — черты богатства и славы: великолепные монастыри и храмы, терема бояр и улицы мастеров. «И не чаялось конца теремам, храмам, кровлям, перемежающимся огородами и садами, отходящего ко сну огромного города, яко древний Вавилон, не вмещающегося в пределах своих». Ничего особенного не происходит: Зосима видит великолепные амбары с солью и зерном, замечательный лес, привезенный на строительство — и кругом такое богатство, которого нищим монахам Соловецкой обители никогда и не увидит даже. Он общается с горожанами, спорит с каким-то стригильником, обсуждает нехитрые новости — и ощущает в себе какую-то нарастающую зависть ко всему этому богатству. И отрок Данило вздыхает: «Тута бы жить! Уж толь красиво!». А у многомудрого Зосимы вырывается:

— Глубоко вкоренился грех во граде сем!

А чуть раньше, в раздумьях того же Зосимы, проskalъзывает сравнение «увядающей» культуры и «увядающей» ранней осенью природы. Как красиво! И всё равно — обречено! Зосима становится выразителем основной стилистической тональности повествования, его «музыкального мотива» — поэзии обреченности. Эту «поэзию» воспел еще Пушкин, сравнив красоту осени с красотой «чахоточной девы». Балашов в данном случае расширяет этот мотив до пределов исторического реквиема вечевой республике.

Этот реквием запечатлен и в так называемом «видении старца Зосимы», развернутом в IX главе романа. В «Житии...» это видение представлено по всем законам агиографии, возвеличивающей персонаж: некое чудесное сбывшееся предчувствие, демонстрирующее



Клейма иконы «Зосима и Савватий»

особые способности святого, недоступные простым смертным. Зосима присутствует на пиру в доме Марфы: «И посмотрев на сидящих, Зосима вдруг удивился и опустил глаза, не говоря ни слова. И снова взглянул, но прежнее увидел и взором поник. И в третий раз поднял глаза, но видит всё то же: сидят некоторые из пирующих на первых местах, а голов не имеют. Ужаснулся блаженный Зосима от такого видения и, вздохнув из глубины сердца, прослезился. И ничего не вкушал больше за трапезой, пока все не встали...» Позднее Зосима о видении своем рассказывает старцу Герману и предупреждает: «Но никому не говори об этом, пока не исполнится Божия воля».

«Видение Зосимы», вследствие своей образной яркости, вошло буквально во все художественные произведения о падении Новгорода. В большинстве из них оно предстает как «чудо» — реализованное «печалование» об уничтожении русской республики. Вот — в балладе «Зосима» декабриста А. И. Одоевского:

Скоро их замолкнут ликованья,
Сменят пир иные пированья,
Пированья в их гробах.
Трупы видел я безглавые,

Топора следы кровавые
Мне виднелись на челах.
Колокол, на вече призывающий!
Я услышу гул твой умирающий,
Не воскреснет он в веках.
Поднялась Москва престольная,
И тебя, столица вольная,
Заметет развалин прах.

В романе Балашова нет ничего подобного. Во-первых, нет никакого «чуда»: всё объясняется вполне материалистически, а это объяснение подкреплено тяжелым психологическим состоянием Зосимы: «Взглядывая из-под низко опущенных ресниц, Зосима видел одни тела председателей: руки с перстнями брали с подносов золотые и серебряные чары, двигались расшитые, цветные и белоснежные рукава, покачивались тела без голов, в шелках, парче и бархате. Он опускал очи долу и вновь подымал, намеренно избегая видеть лица сотрапезующих, и вновь перед ним качались безголовые тела. Упорная мысль зрела в нем, еще не перелившись в законченный образ, и, лишь выйдя на улицу, под осеннее ненастное небо, он додумал ее до конца...»

Зосима в этом описании — вовсе не агнографический «провидец», пассивно внимающий «чудесному видению». Это мудрый политик, могущий «просчитать» ход событий гораздо дальше, чем новгородские бояре. И в тех лихих речах, в которых новгородцы видят только лихое удалство и ощущение былой силы, — Зосима ощущает (и, главное, осмысливает!) веяние смерти. На этом пиру, — подчеркивает автор, анализирующий «видение» соловецкого старца, — «было совершенно *первое предательство новгородского дела*, первое из сотен иных, больших и малых, тайных и явных, вкуче отметивших закат великого вольного города».

Мудрый Зосима в романе, таким образом, оказывается прямым выразителем знаменательной исторической идеи, поддерживавшейся Балашовым, — идеи о том, что в «падении» и умирании вольного Новгорода в немалой степени повинна *потеря пассионарности большинством его жителей*. Былые активные и свободолюбивые люди в какой-то момент истории вдруг теряют свою активность: содержание романного сюжета может быть сведено к тому, что вокруг Борецкой постепенно оказывается «пустынное поле». Одни бывшие друзья — предадут, другие — уходят от задуманных дел и «убегают» подальше из своего города, ставшего опасным, третьи — просто тихо подчиняются необходимости и покорствуют Ивану III, победителю.

Марфа Посадница с этой точки зрения выступает как радетельница и хранитель былой новгородской пассионарности, — и с этой точки зрения оказывается странным образом неважен официальный «статус» этой «правительницы». На новгородском вече она появляется лишь в самом конце романа — когда уже практически ничего нельзя изменить. Но именно явившись на вече и объяснив «мужикам-мастерам», чего хочет добиться «партия Борецких», она и оказывается в восприятии народа той, кем она стала: «В эти дни Борецкую и стали за глаза называть Марфой Посадницей». Важен именно ее «норов», обеспечивающий последние остатки новгородской вольности.

В этом «норове» — ее внешний облик и ее жизнь. Этим «норовом» она противопоставлена Зосиме, ищущему прежде всего нравственность и справедливость. Во имя этой справедливости он, после того, как Марфа попыталась противопоставить собственный «норов» его «правде», упорно продолжает искать эту «правду» и у владыки Ионы, и у влиятельных новгородских бояр. И в конце концов, Марфа вынуждена смирить собственный «норов» перед лицом «правды». Но, даже подписывая монастырю грамоту на владение Соловецкими островами, то есть исполняя то, о чем упрашивал Зосима, и тут реагирует не без «норова»: «Выходил свое, угодник!».

Вполне естественно и противопоставление Марфы и Ивана III. Хотя, казалось бы, оно должно быть протвеестественным: кто такая простая новгородская вдова (хотя бы и богатая) в сравнении с первым «царем всея Руси», объединившим страну и освободив-

шим ее от татарского ига? Впрочем, «царское» звание Ивана вызывает у Марфы только усмешку: «Цареградску перину себе достал князь Иван! Теперь царем величать себя прикажет!». И Иван, и Марфа ощущают себя антагонистами — хотя встречаются в романе только один раз. Марфа является на один из царских пиров в Новгороде: «Посмотреть пришла на ворога своего. Не бойсь, меня не узнат!». Между тем, великий князь сразу «узнает»: «Великий князь Московский оглянулся. В толпе — уже привычно для Ивана — все опускали глаза под его взором. И тут он увидел одну пару неопущенных глаз. Сверкнул очами. Еще не зная, почувствовал — она!

Марфа прищурилась, пожала плечами: «Що, говорят, у его взгляда некоторая жонка вынести не может? Мужик видной, а ище и полуцше есть!» Сама бы не призналась бы, что Московский князь ей понравился.

Иван первый отвел глаза».

Понятно, почему Марфа ощущает Ивана III «ворогом». Но почему великий князь так странно реагирует не «неопущенные глаза»? Что ему — Марфа? Почему она для него — та самая *она*! И почему автор так упорно соблюдает прямое чередование разных эпизодов: сразу после сообщений о тех или иных, вполне «бытовых», деяниях Марфы идет повествование о государственных свершениях великого князя. «Марфа Борецкая пробыла на севере, на Двине и в Поморье, почти два года...» Повествуется об ее делах: строительстве, усмирении бунтующих деревень и в следующем абзаце: «Московский князь был далеко, занят делами ордынскими, женитьбой...» Что тут, собственно, соотносимо?

Противопоставление Марфы Посадницы и Ивана III проводил еще Карамзин. В его повести великий князь Московский делает благородное дело, а Марфа «хотела (весьма некстати) быть Катонем в своей республике». Марфа в своей речи на вече заявляет: «Несправедливость и властолюбие Иоанна не затмевают в глазах наших его похвальных свойств и добродетелей. <...> Мы (новгородцы. — В. К.) хотели изъявить ему приятную надежду, что рука его свергнет с России иго татарское — он вздумал, что мы требуем от него уничтожения нашей собственной вольности! Нет! Нет! Да будет велик Иоанн, но да будет велик и Новгород!». И даже когда в финале повести Марфу торжественно казнят на бывшей вечевой площади, та, в сущности, осознает справедливость этого деяния: «Знаю Иоанна, он знает Марфу и должен одним ударом сразить гордость новгородскую: кто дерзнет восстать против монарха, который наказал Борецкую?». Эта казнь — жертва, необходимая для «спокойствия» вольного города. «Под занавес» князь Холмский славит «правосудие государя» и заявляет: «Кровь Борецкой примиряет вражду единоплеменных...»

В основании своей исторической концепции Балашов согласен с Карамзиным: уничтожение Новгородской республики было необходимо, как и государственное объединение «единоплеменных». Но если у

Карамзина происходит битва за «величие» Великого Новгорода, то балашовская Марфа ратует совсем за другое. Вот она на последнем вече. Судьба Новгорода предрешена: город осажден московской ратью — и голодает. Раздаются призывы к «смирению»:

«О чем речи ведем?! — встает перед народом Марфа. — Смирение?! Кто не смирен перед Господом? Кто из вас, из малых сих, гордынею обуян? *Здесь о воле речь!* Не вотчины, волю нашу новгородскую отдаем в руки Москвы! Честь нашу мечем под ноги Московскому князю! Нашу гордость свободу и жизнь!» Тут — единственный раз — Марфа, как в прежних исторических повествованиях на этот сюжет, вспоминает о колоколе и о «вече, воле народной» — «И что будет, что станет с вами, что сохранится от вас?».

Согласно Балашову, речь в этом сюжете идет не о «величии» (и, соответственно, не о «гордыне»), а именно о воле. Само же понятие воля в русском словоупотреблении многозначно. В словаре В. И. Даля оно представлено в разнообразных значениях, главные из которых «данный человеку *произвол действия*, свобода, простор в поступках» («Всякому своя воля»), «власть или *сила нравственная*» («Дай ему волю, он всё перевернет»), «вся *нравственная половина* человеческого духа» («Разум посягает, да воля не берет»), «*независимость, свобода, неподвластность, простор в действиях, свобода от рабства*». Кажется, будто Марфа Посадница в своих увещаниях на последнем новгородском вече имеет в виду *волю* в последнем значении. Но для самой себя она вкладывает в это понятие расширенное содержание.

Воля — это и способность человека добиваться осуществления поставленных целей, и вытекающая из этого тяга к «свободному хотению», и право распоряжаться жизнью по своему усмотрению, и соответственное этому праву естественное состояние бытия, в котором нет стеснений, ограничений... Немногие люди могут добиться такой вот *воли*, — но коли уж добиваются, то это действительно значимые люди. Такого рода воля — показатель пассионарности жизни, утраченной «разъевшимся» Новгородом. Она существует разве что в понятиях Марфы, постоянно апеллирующей к «старине» и живущей своим внутренним консерватизмом. Весь сюжет романа Балашова — это, в сущности, повествование о том, как московский князь разрушает «волю» смирившихся граждан вольного города, раз за разом заставляя их подавлять свое «свободное хотение».

И единственная, кто встает до конца на его пути и кто готов до конца дать отпор уничтожителю «воли» — это вдова-старуха Марфа, символический образ русского консерватизма.

Прозвание «*посадницы*» она получает от горожан уже в самые конечные дни отчаянной борьбы за город, когда и «воеводы попрятались», и «крепкие мужики» — кто покорились и пошли служить победителю, кто поразбежались от Новгорода подалье. В течение же всего романа Марфа — обычная пожилая женщина,

чем-то напоминающая «старух» Грибоедова и Островского: такая *большуха*, «широкая, осанистая», признанная хозяйка в доме и в окружающем обществе. По естественному российскому ходу вещей среди пожилого — уважаемого — поколения старухи во все времена составляют большинство. И, в конечном счете, именно они, своенравные, злоязычные, прямые, определяют общественное мнение, заставляя окружающих «трепетать» и невольно подчиняться. Это явление давно уже исследовано в русской литературе на множестве примеров.

«Марфа гордилась своим хозяйством, гордилась тем, что вела его по-мужски...» Это необходимость: муж давно умер, у сыновей свои семьи — что же делать? Но это и черта характера: умение «хозяйствовать» определяет тот трезвый практический ум, который Марфа при желании может применить и к делам государственным. Противоестественность новгородской государственности раскрывал ей еще покойный муж, невольный тем, что при нынешнем устройстве новгородских земель «каждый боярин стал посадником»: «Когда во главе страны горсть господ, имущих власть безраздельную, но причем никто из них в отдельности не ответственен за неудачу власти, то такая господа скоро погубит страну и погибнет сама. Так же, как пал Царьград от неверных, когда вельможи его усобицами истожили землю свою...» Степенный новгородский посадник Борецкий указывает на издержки и опасности того республиканского типа власти, носителем которого сам же и является. Ни он, ни Марфа, в сущности, не являются «республиканцами» — в этом Балашов тоже отказывается от «карамзинского» трафарета.

Традиционно на Руси женщина всегда была носителем *консервативных* устоев общежития, — по той простой причине, что она оказывалась теснее связана с теми житейскими устоями, которые менее всего подвержены быстрым изменениям: с семьей, детьми, хозяйством, традициями. Эти устои, являясь консервативными (сохраняемыми), оказываются и самыми прочными и далеко идущими — вспомним замечательную фразу Хомякова: «Не верю я любви к народу того, кто чужд семье, и нет любви к человечеству в том, кто чужд своему народу» [14]. Бунт Марфы возникает именно от этих простых вещей: у нее отбирают сыновей, она лишается дома, угроза нависает над ее налаженным хозяйством, — и она поневоле оказывается «ворогом» тому, кто посмел «поручить» эти вековые устои: царю Ивану III.

Московский князь Иван Васильевич появляется в романе Балашова, начиная с главы XIII, и сразу является в качестве некоего «оппонента» героини в идеологическом плане. В отличие от Марфы, Иван III — яркий «прогрессист» и думает о том, «как обустроить Россию», исходя не от традиций старины, а из того «нового», прежде не виданного, которое обещает блистательное «будущее». Иван следует лозунгу, свойственному для всех «прогрессистов»: «Золотой век не

назад, а впереди нас!» — и поэтому не собирается ни оглядываться назад, ни сверяться с «вековым житьем» дедов. Он выбирает в жены — иностранку: «царский» сан не позволяет пойти на свадьбу «по старине». Он и новгородскую «волю» готов погубить хотя бы потому, что она опирается на «исконный» порядок. Исходная посылка той «мифологии», которую «выстраивает» Иван, — о «бесплодности» прошлого — предполагала и единственно возможную модель будущего: медленное, но неуклонное движение к видимому «прогрессу» и «золотому веку».

Возникающий при этом миф о будущем «золотом веке» выходит из рамок конкретной истории конца XV столетия. Этот миф тоже агрессивен. Помните, каким он отразился в памятном нам официальном лозунге: «Коммунизм — светлое будущее человечества», — непременно *всего человечества*, без разделения на государство и этносы. Возможности реализации этой модели представляли в фаталистическом облики: «Победа коммунизма неизбежна!» — такая эсхатология наоборот. И в нынешнем пути России структурная основа мифологии «золотого века» не претерпела существенных изменений. Просто — сменились лозунги: вместо «коммунизма» явился «жизненный уровень передовых капиталистических стран» (то же «светлое будущее человечества»). А «неизбежной» нынче объявлена победа «рынка» — штуки столь же абстрактно-мифологемной, как и непобедивший «коммунизм»...

Марфа в этой концепции, повторяем, символизировала то консервативное начало, которое неизбежно проигрывает в любом сиюминутном противостоянии «новому», — но непременно учитывается в исторической перспективе. Вспомним, как в начале 1990-х годов, при разрушении наследия русского коммунистического «прогрессизма», пошел яркий обратный процесс. Начали говорить о «России, которую мы потеряли», о необходимости «покаяния», о разрушении памятников «неправедным» героям и о восстановлении прежних монументов, о возврате прежних названий городов и улиц. Всё ведь это — отголоски той модели, которую отстаивала Марфа Посадница. Балашов своим романом как бы предвидел этот процесс — а роман, напомним, писался еще в конце 1960-х годов, когда благобно праздновалось пятидесятилетие Октября. А тот процесс, который вольно или невольно предсказывал Балашов, — не что иное, как естественная данность векового исторического движения. Поэтому роман о Марфе Посаднице поневоле оказался и остросовременным, и «опасным» для «прогрессистских» чиновников.

Последняя фраза Марфы, которая, собственно, и завершает роман, тоже символична. Несломленную «посадницу» вместе с малолетним внуком увозят из родного города.

«Оставшись одна, она еще помедлила, потом обвела очами чужое уже жило, поклонилась ему в пояс,

перекрестившись на большой образ новгородского сурового Спаса в углу, и сказала негромко в пустоту, и это было последнее, что она вообще сказала перед тем, как навсегда оставить Новгород:

— Исполать тебе, царь Иван Васильевич! Бабу одолел и дитя малое...»

В сущности, ничего другого в этом сюжете и не произошло: перед нами повествование о том, как «царь Иван Васильевич» «бабу одолел». Одолел глупую «бабу», ставшую «против ветра», в непреклонную — и заранее «проигрышную» — оппозицию властным силам и движению истории.

Всё так, — но почему же русская память никак не может забыть эту «бабу», и из огромной чреды удачливых новгородских владык и посадников только ее и помнит?

ЛИТЕРАТУРА

1. Алексеев Ю. Г. «К Москве хотим»: Закат боярской республики в Новгороде. — Л., 1991. — С. 59—60; Пушкарёва Н. Л. Женщины Древней Руси. — М., 1989. — С. 53; Вернадский В. Н. Новгород и новгородская земля в XV в. — М.-Л., 1961. — С. 74.
2. Гончаров И. А. Собр. соч.: В 8 т. — М., 1952. — Т. 4. — С. 274.
3. Грамоты Великого Новгорода и Пскова. — С. 242—243.
4. Дмитрий Балашов. Писатель. Историк. Фольклорист // Мат-лы первых Балашовских чтений. — В. Новгород, 2002.
5. Жизнеописание достопамятных людей земли Русской. — М., 1992. — С. 147—159.
6. Иконников В. С. Борецкий // Русский биографический словарь. — Т. 4. — С. 214; Заринский М. Борецкие // Архангельские губернские ведомости. — 1884. — № 30 (14 апреля); Грамоты Великого Новгорода и Пскова / Под ред. С. Н. Валка. — М.-Л., 1949. — С. 300.
7. Иловайский Д. Собиратели Руси. — М., 1996. — С. 389—390.
8. Ключевский В. О. Соч.: В 9 т. — М., 1989. — Т. 7. — С. 276—277.
9. Лурье Я. С. Две истории Руси XV века: Ранние и поздние независимые и официальные летописи об образовании Московского государства. — М., 1994. — С. 123—143.
10. Надгробный камень Марфы, может быть, Посадницы // Русский зритель. — 1826. — № 1; Лазарев И. Нечто о Марфе Посаднице и Вечевом новгородском колоколе // Московский телеграф. — 1833. — Ч. III. — № 15. — С. 446—451.
11. Памятники литературы Древней Руси. Вторая половина XV века. — М., 1982. — С. 376—396.
12. Полное собрание русских летописей. — Т. 23. — С. 159.
13. Пушкарёва Н. Л. Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, любовница (X — начало XIX в.). — М., 1997. — С. 94—98.
14. Хомяков А. С. О старом и новом: Статьи и очерки. — М., 1988. — С. 273.
15. Хорошев А. С. Предисловие // Государство все нам держат Век XV. — М., 1985. — С. 17.
16. Янин В. Л. Новгородская феодальная вотчина (Историко-генеалогическое исследование). — М., 1981. — С. 53.
17. Янин В. Л. Новгородские посадники. — М., 1962. — С. 276; Андреев В. Ф. Новгородский частный акт XII—XV вв. — М., 1986. — С. 61, 63, 72.
18. Яхонтов И. Жития Св. северорусских подвижников Поморского края как исторический источник. — Казань, 1881. — С. 28—29.